

ОКЛЯБРЬ

ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ

Ж У Р Н А Л

СОДЕРЖАНИЕ

РОМАНЫ, ПОВЕСТИ, РАССКАЗЫ

А. ФАДЕЕВ
А. КАРАВАЕВА
Л. КОПЫЛОВА
М. ШОЛОХОВ
И. МЫКИТЕНКО
А. СВИРСКИЙ

ПОЭМЫ, СТИХИ

Д. АЛТАУЗЕН
П. ТЫЧИНА
М. ТЕРЕЩЕНКО
Н. АСЕЕВ
В. ГУСЕВ
А. БЕЗЫМЕНСКИЙ

ЗАПИСКИ ПИСАТЕЛЯ

Д.м. ФУРМАНОВ
М. СВЕТЛОВ
Иван ЛЕ

ОЧЕРКИ, ФЕЛЬЕТОНЫ

А. ИСБАХ
В. ШМЕРЛИНГ
П. МАКСИМОВ

К Р И Т И К А

П. КОВАЛЕНКО
Г. ГОРБАЧЕВ
Е. ТРОЩЕНКО

БИБЛИОГРАФИЯ

К Н И Г А

В Т О Р А Я

МОСКОВСКИЙ РАБОЧИЙ

1

9

2

9

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА НА 1929 ГОД

НА ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ЛИТ. - ХУД.
И ОБЩЕСТВ.-ПОЛИТИЧ. ЖУРНАЛ
ВСЕРОСС. АСС. ПРОЛЕТПИСАТЕЛЕЙ

ОКТАБЕРЬ

В 1929 г. в журнале будут напечатаны

РОМАНЫ: А. Фадеев — Последний из Удэге; М. Шолохов — Тихий Дон (кн. 3); Ф. Панферов — Бруски (2 кн.); Ю. Либединский — Любовь Шорохова; Н. Богданов — Тихие братья; М. Слонимский — Отрывок из романа.

ПОВЕСТИ: Л. Копыловой, А. Гайдара, Ю. Олеши, Н. Тихонова, А. Свицкого, М. Лузгина, В. Саянова, Н. Асеева, А. Караваевой, Г. Шубина, П. Логинова-Лесняка, М. Залка и др.

РАССКАЗЫ: А. Серафимовича, М. Колосова, Ив. Макарова, В. Катаева, Л. Никулина, В. Ставского, Я. Шведова, Н. Огнева, А. Веселого, И. Катаева, А. Малышкина, С. Семенова, Д. Хаит, Ив. Микитенко и др.

ПОЭМЫ И СТИХИ: Н. Асеева, Э. Багрицкого, М. Светлова, В. Саянова, И. Сельвинского, Д. Алтаузена, А. Безыменского, М. Голодного, В. Маяковского, И. Уткина, А. Жарова, Ясного, Гусева, Я. Шведова и др.

★

ЗАПИСКИ ПИСАТЕЛЯ: Отдел ставит задачей дать материал, освещающий творческий путь писателя, проблемы, возникающие у него в повседневном соприкосновении с действительностью. Процесс отбора впечатлений и реагирования на злободневные вопросы действительности. Взаимоотношение писателя и среды. Участие писателя в партийной и общественной работе. В отделе примет участие ряд виднейших писателей.

ПЕРЕЖИТОЕ: В отделе будут печататься романы-хроники, биографические повести, мемуары, воспоминания активных участников революционной борьбы и пролетарского литературного движения.

★

В ПОРТФЕЛЕ РЕДАКЦИИ: Воспоминания В. Бонч-Бруевича, Е. Г. Лундберг — «Берлин 1922—24 гг.» Неопубликованные дневники Д. Фурманова и Я. Коробова.

УСЛОВИЯ ПОДПИСКИ И РАССРОЧКИ ПЛАТЕЖА см. на 4-й стран обложки.
Рукописи направлять по адресу: Москва, Кузнецкий Мост, 7, ред. журн. „ОКТАБЕРЬ“

СОВРЕМЕННОЕ ИСКУССТВО: Путем систематических обзоров и отдельных статей отдел знакомит читателя с рядом основных проблем в области искусств, смежных с литературой, с вопросами творчества и борьбы различных направлений в современной драматургии, кино, театре и живописи.

В отделе, в ряду других, будут напечатаны статьи: «О художественном методе Станиславского», «О театре Мейерхольда», «О драме, как о литературном жанре» и ряд других. **КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ:** в 1929 г. отдел будет значительно расширен и реорганизован. В ряду других статей будут помещены «Письма об искусстве» И. С. Гроссман-Рощина.

Будут напечатаны статьи: О художественном методе Ф. Гладкова, о художественном направлении в творчестве А. Фадеева, М. Шолохова и Ф. Панферова и др. Обзор художественных тенденций и направлений в советской литературе и ряд других статей.

КУЛЬТУРА — ПОЛИТИКА — БЫТ В 1929 году будет значительно расширен и реорганизован отдел «Жизнь на ходу» — в сторону большего освещения злободневных вопросов быта, культуры, труда и социалистического строительства.

К сотрудничеству привлечены: А. Зорич, Д. Сверчков, М. Кольцов, В. Ставский, Е. Ломтатидзе, Б. Галин, С. Безбородов, Я. Ильин, Киш, В. Бонч-Бруевич, В. Асмус, Т. Костров, П. Керженцев, Н. Карев, А. Грудская, проф. Залкинд, С. Ингулов, А. Костерин, А. Шафир, А. Михайлов, Н. Бельчиков и другие.

ОКтябрь

ЛИТЕРАТУРНО - ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ОБЩЕСТВЕННО - ПОЛИТИЧЕСКИЙ

ЖУРНАЛ ВСЕРОССИЙСКОЙ И МОСКОВСКОЙ
АССОЦИАЦИИ ПРОЛЕТПИСАТЕЛЕЙ

К Н И Г А
В Т О Р А Я
Ф Е В Р А Л Ъ

МОСКОВСКИЙ РАБОЧИЙ
МОСКВА 1929

Мосгублит № 35.328. З. Т. 618. Тираж 10.000.

Отпечатано в 7-й типографии
„ИСКРА РЕВОЛЮЦИИ“
МОСПОЛИГРАФА.
МОСКВА,
Арбат,
Филип.,
13.

Т И Х И Й Д О Н

РОМАН

МИХ. ШОЛОХОВ

(Продолжение)

IV

15 МАЯ атаман Всевеликого Войска Донского Краснов, сопровождаемый председателем совета управляющих, управляющим отделом иностранных дел генералом-майором Африканом Богаевским, генерал-квартирмейстером донской армии полковником Кисловым и кубанским атаманом Филимоновым, прибыл на пароходе в станицу Маньчскую.

Хозяева земли донской и кубанской скупающе смотрели с палубы, как причаливает к пристани пароход, как суетятся матросы и, закипая, идет от сходней бурая волна. Потом сошли на берег, провожаемые сотнями глаз собравшейся у пристани толпы.

Небо, горизонты, день, тонкоструйное марево — все синее. Дон — и тот отликает неприсущей ему голубизной, как вогнутое зеркало, отражая снежные вершины туч.

Запахами солнца, сохлых солончаков и испревшей прошлогодней травы напитан ветер. Толпа шуршит говором. Генералы, встреченные местными властями, едут на плац.

В доме станичного атамана через час началось совещание представителей донского правительства и Добровольческой армии. От Добровольческой армии прибыли генералы Деникин и Алексеев, в сопровождении начштаба армии генерала Романовского, полковников Ряснянского и Эвальда.

Встреча дышала холодком. Краснов держался с тяжелым достоинством. Алексеев, поздоровавшись с присутствующими, присел к столу, подперев сухими белыми ладонями обвислые щеки, безучастно закрыл глаза. Его укачала езда в автомобиле.

Он как бы сохся от старости и пережитых потрясений. Излучины сухого рта трагически опущены, голубые, иссеченные прожилками веки набухли и тяжки. Множество мельчайших морщинок веером рассыпалось к вискам. Пальцы, плотно прижавшие дряблую кожу щек, концами зарывались в старчески желтоватых, коротко остриженных волосах. Полковник Ряснянский бережно расстилал на столе похрустывающую стратегическую карту, ему помогал Кислов. Романовский стоял около, придерживая ногтем мизинца угол карты. Богаевский прислонился к невысокому окну, с щемящей жалостью вглядываясь в бесконечно уста-

лое лицо Алексева. Оно белело, как гипсовая маска. «Как он постарел! Ужасно как постарел!» — мысленно шептал Богаевский, не спуская с Алексева влажных миндалевидных глаз. Еще не успели присутствовавшие усесты за стол, как Деникин, обращаясь к Краснову, заговорил взволнованно и резко:

— Прежде чем открыть совещание, я должен заявить вам: нас крайне удивляет то обстоятельство, что вы в диспозиции, отданной для овладения Батайском, указываете, что в правой колонне у вас действует немецкий батальон и батарея. Должен признаться, что факт подобного сотрудничества для меня более чем странен... Вы позволите узнать, чем руководствовались вы, входя в сношение с врагами родины — с бесчестными врагами! — и пользуясь их помощью? Вы, разумеется, осведомлены о том, что союзники готовы оказать нам поддержку?.. Добровольческая армия расценивает союз с немцами, как измену делу восстановления России. Действия донского правительства находят такую же оценку и в широких союзнических кругах. Прошу вас об'ясниться.

Деникин, зло изогнув бровь, ждал ответа.

Только благодаря выдержке и врожденной светскости Краснов хранил внешнее спокойствие, но негодование все же осиливало: под седеющими усами нервный тик подергивал и искажал рот. Очень спокойно и очень учтиво Краснов отвечал:

— Когда на карту ставится участь всего дела, не брезгают помощью и бывших врагов. И потом, вообще, правительство Дона, правительство пятимиллионного суверенного народа, никем не опекаемое, имеет право действовать самостоятельно, сообразно интересам казачества, кои призвано защищать.

При этих словах Алексеев открыл глаза и, видимо, с большим напряжением пытался слушать внимательно. Краснов глянул на Богаевского, нервически крутившего выхолонный в стрелку ус, и продолжал:

— В ваших рассуждениях, ваше превосходительство, превалируют мотивы, так сказать, этического порядка. Вы сказали очень много ответственных слов о нашей якобы измене делу России, об измене союзникам... Но, я полагаю, вам известен тот факт, что Добровольческая армия получала от нас снаряды, проданные нам немцами?..

— Прошу строго разграничивать явления глубоко различного порядка! Мне нет дела до того, каким путем вы получаете от немцев боеприпасы, но — пользоваться поддержкой их войск!.. — Деникин сердито вздернул плечами.

Краснов, кончая речь, вскользь, осторожно, но решительно дал понять Деникину, что он не прежний бригадный генерал, каким тот видел его на австро-германском фронте.

Разрушив неловкое молчание, установившееся после речи Краснова, Деникин умно перевел разговор на вопросы слияния донской и Добровольческой армий и установления единого командования. Но предшествовавшая этому стычка, по сути, послужила началом даль-

нейшего, непрестанно развивавшегося между ними обострения отношений, окончательно порванных к моменту ухода Краснова от власти (Деникин, «без лести преданный» союзникам, не мог простить Краснову немецкой «ориентации»).

Краснов от прямого ответа ускользнул, предложив взамен совместный поход на Царицын для того, чтобы, во-первых, овладеть крупнейшим и стратегическим центром и, во-вторых, удержав его, соединиться с уральскими казаками.

Прозвучал короткий разговор:

— ... Вам не говорить о той колоссальной значимости, которую представляет для нас Царицын.

— Добровольческая армия может встретиться с немцами. На Царицын не пойду. Прежде всего я должен освободить кубанцев.

Да, но все же взятие Царицына — кардинальнейшая задача. Правительство Войска Донского поручило мне просить ваше превосходительство.

— Повторяю: бросить кубанцев я не могу.

— При условии наступления на Царицын можно говорить об установлении единого командования.

Алексеев неодобрительно пожевал губами.

— Немыслимо. Кубанцы не пойдут из пределов области, окончательно не очищенной от большевиков, а в Добровольческой армии две с половиной тысячи штыков, при чем третья часть — вне строя: раненые и больные.

За скромным обедом вяло перебрасывались незначущими замечаниями, — было ясно, что соглашения достигнуто не будет. Полковник Ряснянский рассказал какой-то веселый полуанекдотичный подвиг одного из марковцев, и постепенно, под совместным содействием обеда и веселого рассказа, напряженность рассеялась. Но когда после обеда, закуривая, разошлись по горнице, Деникин, тронув плечо Романовского, указал острыми, прищуренными глазами на Краснова и шепнул: «Наполеон областного масштаба... Не умный человек, знаете ли», — улыбнувшись, Романовский быстро ответил:

— Княжить и володеть хочется... Бригадный генерал упивается монаршей властью. По-моему, он лишен чувства юмора...

Раз'ехались, преисполненные вражды и неприязни. С этого дня отношения между Добрармией и донским правительством резко ухудшаются и достигают апогея к концу июня, когда командованию Добрармии становится известным содержание письма Краснова, адресованного германскому императору Вильгельму. Раненые добровольцы, отлеживавшиеся в Новочеркасске, посмеиваясь над стремлением Краснова к автономии и над слабостью его по части восстановления казачьей старинки, в кругу своих презрительно называли его «хозяином», а Всевеликое Войско Донское переименовали во «всеселое». В ответ на это донские самостийники величали их «странствующими музыкантами», «правителями без территории». Кто-то из «великих» в Добро-

вольческой армии едко сказал про донское правительство: «Проститутка, зарабатывающая на немецкой постели». В ответ на это последовал ответ генерала Денисова: «Если правительство Дона проститутка, то Добровольческая армия — кот, живущий на средства этой проститутки».

Ответ был намеком на зависимость Добровольческой армии от Дона, делившего с ней получаемое от немцев боевое снаряжение.

Ростов и Новочеркасск, являвшиеся тылом Добровольческой армии, как падаль червями, кишели офицерами. Тысячи их спекулировали, тихо служили в бесчисленных тыловых учреждениях, ютились у родных и знакомых, с поддельными документами о ранениях лежали в лазаретах... Все наиболее честные, мужественные гибли в боях, от тифа, от ран, а остальные, растерявшие за годы безвременья и честь и совесть, по-шакальи прятались в тылах, грязной накипью, навозом плавали на поверхности героических дней. Это были еще те нетронутые залежалые кадры офицерства, которое некогда громил, обличал, стыдил Чернецов, призывая к защите России. В большинстве они являли собой самую пакостную разновидность так называемой «мыслящей интеллигенции», облаченной в военный мундир: от большевиков бежали, к белым не приставали, понемножку жили, спорили о судьбах России, зарабатывали детишкам на молочишко и страстно желали конца войны.

Для них все равно кто бы ни правил страной, — Краснов ли, немцы ли, или большевики, — лишь бы конец.

А события грохотали изо дня в день. В Сибири — чехо-словацкий мятеж, на Украине — Махно, возмужало заговоривший с немцами на наречии орудий и пулеметов. Кавказ, Архангельск, Финляндия... Вся Россия стянута обручами огня... Вся Россия в муках великого передела...

В июне по Дону широко, как восточные ветры, загуляли слухи, будто чехо-словаки занимают Саратов, Царицын и Астрахань с целью образовать по Волге восточный фронт для наступления на германские войска. Немцы на Украине неохотно стали пропускать офицеров, пробиравшихся из России под знамена Добровольческой армии.

Германское командование, встревоженное слухами об образовании «восточного фронта», послало на Дон своих представителей. 27 июня в Новочеркасск прибыли майоры германской армии — фон-Кокенхаузен, фон-Стефани и фон-Шлейниц.

В этот же день они были приняты во дворце атаманом Красновым в присутствии генерала Богаевского. Майор Кокенхаузен, упомянув о том, как германское командование всеми силами, вплоть до вооруженного вмешательства, помогало Всевеликому Войску Донскому в борьбе с большевиками и восстановлении границ, спросил, как будет реагировать правительство Дона, если чехо-словаки начнут против них военные действия. Краснов уверял его, что казачество будет строго блюсти нейтралитет и, разумеется, не позволит сделать Дон ареной войны.

Майор фон-Стефани выразил пожелание, чтобы ответ атамана был закреплен в письменной форме.

На этом аудиенция кончилась, а на следующий день Краснов написал следующее письмо германскому императору:

«Ваше императорское и королевское величество! Податель сего письма, атаман Зимовой станицы (посланник) Всевеликого Войска Донского при дворе вашего императорского величества, и его товарищи уполномочены мною, донским атаманом, приветствовать ваше императорское величество, могущественного монарха великой Германии, и передать нижеследующее:

Два месяца борьбы доблестных донских казаков, которую они ведут за свободу своей родины с таким мужеством, с каким в недавнее время вели против англичан родственные германскому народу буры, увенчались на всех фронтах нашего государства полной победой, и ныне земля Всевеликого Войска Донского на 9/10 освобождена от диких красногвардейских банд. Государственный порядок внутри страны окреп, и установилась полная законность. Благодаря дружеской помощи войск вашего императорского величества создалась тишина на юге войска, и мною приготовлен корпус казаков для поддержания порядка внутри страны и воспрепятствования натиску врагов извне. Молодому государственному организму, каковым в настоящее время является донское войско, трудно существовать одному, и поэтому оно заключило тесный союз с главами астраханского и кубанского войск, полковником князем Тундутовым и полковником Филимоновым, с тем, чтобы, по очищении земли астраханского войска и Кубанской области от большевиков, составить прочное государственное образование на началах федерации из Великого Войска Донского, астраханского войска с калмыками Ставропольской губ., кубанского войска, а впоследствии, по мере освобождения, и терского войска, а также народов Северного Кавказа. Согласие всех этих держав имеется, и вновь образуемое государство, в полном согласии со Всевеликим Войском Донским, решило не допускать до того, чтобы земли его стали аренной кровавых столкновений, и обязались держать полный нейтралитет. Атаман Зимовой станицы нашей при дворе вашего императорского величества уполномочен мною:

Просить ваше императорское величество признать права Всевеликого Войска Донского на самостоятельное существование, а по мере освобождения последних кубанских, астраханских и терских войск и Северного Кавказа—право на самостоятельное существование и всей федерации под именем Доно-Кавказского союза.

Просить признать ваше императорское величество границы Всевеликого Войска Донского в прежних географических и этнографических его размерах, помочь разрешению спора между

Украиной и Войском Донским из-за Таганрога и его округа в пользу Войска Донского, которое владеет Таганрогским округом более 500 лет и для которого Таганрогский округ является частью Тмутаракани, от которой и стало Войско Донское.

Просить ваше величество содействовать о присоединении к Войску по стратегическим соображениям городов Камышина и Царицына Саратовской губернии и города Воронежа и станции Лиски и Поворино и провести границу Войска Донского, как это указано на карте, имеющейся в Зимовой станице.

Просить ваше величество оказать давление на советские власти Москвы и заставить их своим приказом очистить пределы Всевеликого Войска Донского и других держав, имеющих войти в Доно-Кавказский союз, от разбойничьих отрядов Красной армии и дать возможность восстановить нормальные, мирные отношения между Москвой и Войском Донским. Все убытки населения Войска Донского, торговли и промышленности, происшедшие от нашествия большевиков, должны быть возмещены советской Россией.

Просить ваше императорское величество помочь молодому нашему государству орудиями, ружьями, боевыми припасами и инженерным имуществом и, если признаете это выгодным, устроить в пределах Войска Донского оружейный, оружейный, снарядный и патронный заводы.

Всевеликое Войско Донское и прочие государства Доно-Кавказского союза, не забудут дружеской услуги германского народа, с которым казаки бились плечом к плечу еще во время тридцатилетней войны, когда донские полки находились в рядах армии Валленштейна, а в 1807—1813 годы донские казаки, со своим атаманом, графом Платовым, боролись за свободу Германии, и теперь почти за 3½ года кровавой войны на полях Пруссии, Галиции, Буковины и Польши казаки и германцы взаимно научились уважать храбрость и стойкость своих войск и ныне, протянув друг другу руки, как два благородных бойца, борются вместе за свободу родного Дона.

Всевеликое Войско Донское обязуется за услугу вашего императорского величества соблюдать полный нейтралитет во время мировой борьбы народов и не допускать на свою территорию враждебные германскому народу вооруженные силы, на что дали свое согласие и атаман астраханского войска, князь Тундутов и кубанское правительство, а по присоединении — и остальные части Доно-Кавказского союза.

Всевеликое Войско Донское предоставляет германской империи права преимущественного вывоза избытков, за удовлетворением местных потребностей, хлеба — зерном и мукой, кожевенных товаров и сырья, шерсти, рыбных товаров, растительных и животных жиров и масла и изделий из них, табачных товаров и изделий скота и лошадей, вина виноградного и других продуктов

садоводства и земледелия, взамен чего германская империя доставит сельскохозяйственные машины, химические продукты и дубильные экстракты, оборудования экспедиции заготовления государственных бумаг с соответственным запасом материалов, оборудование суконных, хлопчатобумажных, кожевенных, химических, сахарных и других заводов и электротехнические принадлежности.

Кроме того, правительство Всевеликого Войска Донского предоставит германской промышленности особые льготы по помещению капиталов в донские предприятия промышленности и торговли, в частности по устройству и эксплуатации новых водных и иных путей.

Тесный договор сулит взаимные выгоды, и дружба, спаянная кровью, пролитой на общих полях сражений воинственными народами германцев и казаков, станет могучей силой для борьбы со всеми нашими врагами.

К вашему императорскому величеству обращается с этим письмом не дипломат и тонкий знаток международного права, но солдат, привыкший в честном бою уважать силу германского оружия, а поэтому прошу простить прямоту моего тона, чуждую всяких ухищрений, и прошу верить в искренность моих чувств.

Уважающий вас Пётр Краснов,
донской атаман, генерал-майор».

2 июля письмо было рассмотрено советом управляющих отделами, и, несмотря на то, что отношение к нему было весьма сдержанное, а со стороны Богаевского и еще нескольких членов правительства даже явно отрицательное, Краснов не замедлил вручить его атаману Зимовой станицы в Берлине герцогу Лихтенбергскому, который выехал с ним в Киев, а оттуда, с генералом Черячукиным, в Германию.

Не без ведома Богаевского, письмо до отправления было перепечатано в иностранном отделе, копии его широко пошли по рукам и, снабженные соответствующими комментариями, загуляли по казачьим частям и станицам. Письмо послужило могущественным средством пропаганды. Все громче стали говорить о том, что Краснов проданся немцам. На фронтах бугрились волнения.

А в это время немцы, окрыленные успехами, возили русского генерала Черячукина под Париж, и он, вместе с чинами немецкого главного штаба, наблюдал могущественнейшее действие крупновской тяжелой артиллерии, разгром англо-французских войск.

V

Во время ледяного похода Евгений Листницкий был ранен два раза: первый раз в бою за овладение станицей Усть-Лабинской, второй — при штурме Екатеринодара. Обе раны были незначительны, и

вскоре он вновь возвращался в строй, но в мае, когда Добровольческая армия стала в районе Новочеркаска на короткий отдых, Листницкий почувствовал недомогание, выхлопотал себе двухнедельный отпуск. Как ни велико было желание поехать домой, он решил остаться в Новочеркаске, чтобы отдохнуть, не тратя время на переезды.

Вместе с ним уходил в отпуск его товарищ по взводу, ротмистр Горчаков. Он предложил пожить у него.

— Детей у меня нет, а жена будет рада видеть тебя. Она ведь знакома с тобой по моим письмам.

В полдень, по-летнему горячий и белый, они под'ехали к сутулому особнячку на одной из привокзальных улиц.

— Вот моя резиденция в прошлом, — торопливо шагая, оглядываясь на Листницкого, говорил черноусый голенастый Горчаков.

Его выпуклые, черные до синевы глаза влажнели от счастливого волнения, мясистый, как у грека, нос клонила книзу улыбка. Широко шагая, сухо шурша вытертыми леями защитных бриджей, он вошел в дом, сразу наполнив комнаты прогорклым запахом солдатчины.

— Где Леля? Ольга Николаевна где? — крикнул спешившей из кухни, улыбавшейся прислуге. — В саду? Идем туда.

В саду под яблонями, — тигровые, пятнистые тени, пахнет пчельником, выгоревшей землей. У Листницкого в стеклах нежно шрапнелью дробятся, преломляясь, солнечные лучи. Где-то на путях нена сытно и густо ревет паровоз, разрывая этот однотонный стонущий рев. Горчаков зовет:

— Леля! Леля! Где же ты?

Из боковой аллейки, мелькая за кустами шиповника, вынырнула высокая, в палевом платье женщина.

На секунду она стала, испуганным прекрасным жестом прижав к груди левую руку, а потом с криком и вытянутыми руками, щелкая на бегу пальцами, помчалась к нам. Она бежала так быстро, что Листницкий видел только бившиеся под юбкой округло-выпуклые чашки колен, узкие носки туфель да золотую пыльцу волос, взвихренную над откинутой головой.

Вытягиваясь на носках, кинув на плечи мужу изогнутые, розовые от солнца, оголенные руки, она целовала его в пыльные щеки, нос, глаза, губы, черную от солнца и ветра шею. Короткие, чмокающие звуки поцелуев сыпались пулеметными очередями.

Листницкий протирал пенсне, вдыхая заклубившийся вокруг него запах вербены, и улыбался, — сам сознавая это, — глупейшей, туго натянутой улыбкой.

Когда взрыв радости поутих, перемеженный секундным перебоем, Горчаков бережно, но решительно разжал сомкнувшиеся на его шее пальцы жены и, обняв ее за плечи, легонько повернул в сторону Листницкого.

— Леля... мой друг Листницкий.

— Ах, Листницкий! Очень рада! Мне о вас муж... — она задышалась, бегло скользила по нем смеющимися, незрячими от счастья глазами.

Они шли рядом. Волосатая рука Горчакова, с неопрятными ногтями и заусеницами, охватом лежала на девичьей талии жены. Листницкий, шагая, косился на эту руку, вдыхая запах вербены и нагретого солнцем женского тела, и чувствовал себя по-детски глубоко несчастным, кем-то несправедливо и тяжело обиженным. Он посматривал на розовую мочку крохотного ушка, прикрытого прядью золотисто-ржавых волос, на шелковистую кожу щеки, находившейся от него на расстоянии аршина; глаза его по-ящериному скользили к вырезу на груди, и он видел невысокую, холмистую, молочно-желтую грудь и пониклый коричневый сосок. Изредка она обращала на него светлые, голубоватые глаза, взгляд их был ласков, дружествен, но боль, легкая и досадливая, точила его, когда эти же глаза, устремляясь на черное лицо Горчакова, лучили совсем иной свет...

Только за обедом Листницкий как следует рассмотрел хозяйку. И в ладной фигуре ее и в лице была та гаснущая ущербная красота, которой неярко светится женщина, прожившая тридцатую осень. Но в насмешливых, холодноватых глазах, в движеньях она еще хранила нерастраченный запас молодости. Лицо ее с мягкими, привлекательными в своей неправильности чертами было, пожалуй, самое заурядное. Лишь один контраст резко бросался в глаза: тонкие смугло-красные, растрескавшиеся жаркие губы, такие, какие бывают только у черных женщин юга, и просвечивающая розовым кожа щек, белесые брови. Она охотно смеялась, но в улыбке, оголявшей густые, мелкие, как срезанные, зубы, сквозило что-то заученное. Низкий голос был глуховатый и беден оттенками. Листницкому, два месяца не выдавшему женщин, за исключением измызганных сестер, она несомненно казалась преувеличенно красивой. Он смотрел на гордую в посадке голову Ольги Николаевны, отягченную узлом волос, отвечал невпопад и вскоре, сославшись на усталость, ушел в отведенную ему комнату.

... И вот потянулись дни, сладостные и тоскливые. После Листницкий благоговейно, как молящийся четки, перебирал их в памяти, а тогда он мучился по-мальчишески, безрассудно и глупо. Голубиная чета Горчаковых уединялась, избегала его; из комнаты, смежной с их спальней, перевели его в угловую, под предлогом ремонта, о котором Горчаков говорил, покусывая ус, храня на помолодевшем, выбритом лице улыбку серьезность. Листницкий сознавал, что стесняет друга, но перейти к знакомым почему-то не хотел. Целыми днями валялся он под яблоней, в оранжево-пыльном холодке, читая газеты, наспех напечатанные на дрянной, оберточной бумаге, засыпая тяжелым, неосвежающим сном. Истомную скуку делил с ним красавец пойнтер, шоколадной, в белых крапинах масти. Он молчаливо рев-

новал хозяина к жене, уходил к Листницкому, ложился, вздыхая, с ним рядом, и тот, поглаживая его, прочувственно шептал:

Мечтай, мечтай... Все уже и тусклей
Ты смотришь золотистыми глазами...

С любовью перебирал все сохранившиеся в памяти пахучие и густые, как чеборцовый мед, бунинские строки. И опять засыпал...

Ольга Николаевна чутьем, присущим лишь женщине, распознала тяготившие его настроения. Сдержанная прежде, она была еще сдержанней в обращении с ним. Как-то, возвращаясь вечером из городского сада, они шли вдвоем (Горчакова остановили у выхода знакомые офицеры Марковского полка). Листницкий вел Ольгу Николаевну под руку, тревожил ее, крепко прижимая ее локоть к себе.

— Что вы так смотрите? — спросила она, улыбаясь.

В низком голосе ее Листницкому почудились игривые вызывающие нотки. Только поэтому он и рискнул козырнуть меланхолической строфой (эти дни одолевала его поэзия, и мысли, как пчелы, несли в соты памяти чужую певучую бль). Он нагнул голову, улыбаясь шепнул:

— И странной близостью закованный,
Смотрю за темную вуаль —
И вижу берег очарованный
И очарованную даль.

Она тихонько высвободила свою руку, сказала повеселевшим голосом:

— Евгений Николаевич, я в достаточной степени выросла и не могу не видеть того, как вы ко мне относитесь... и вам не стыдно? Подождите! Подождите! Я вас представляла немножко... иным, так вот, давайте оставим это? А то как-то и недосказанно и нечестно... Из меня ведь плохой объект для подобных экспериментов. Приволокнуться вам захотелось? Ну, так вот давайте-ка дружеских отношений не порывать, а глупости оставьте. Понятно? Идет? Давайте вашу руку.

Листницкий разыграл благородное негодование, но под конец, не выдержав роли, расхохотался вслед за ней. После того как их догнал Горчаков, Ольга Николаевна оживилась и повеселела еще больше, но Листницкий приумолк и до самого дома мысленно жестоко издевался над собой.

Ольга Николаевна при всем своем уме искренне верила в то, что после объяснения они станут друзьями. Наружно Листницкий поддерживал в ней эту уверенность, но в душе почти возненавидел ее, и через несколько дней, поймав себя на мучительном выискивании отрицательных черт в характере и наружности Ольги, понял, что стоит на грани подлинного большого чувства.

Иссякали дни отпуска, оставляя в сознании не выбродивший осадок. Добровольческая армия, пополненная и отдохнувшая, гото-

вилась наносить удары; центробежные силы влекли ее на Кубань. Вскоре Горчаков и Листницкий покинули Новочеркасск.

Ольга провожала их. Черное шелковое платье подчеркивало ее нежную красоту. Она улыбалась заплаканными глазами, некрасиво опухшие губы придавали ее лицу волнующе трогательное, детское выражение. Такой она и запечатлелась в памяти Листницкого. И он долго и бережно хранил в воспоминаниях среди крови и грязи пережитого ее светлый немеркнувший образ, облекая его ореолом недоступности и поклонения.

В июне Добровольческая армия уже втянулась в бои. В первом же бою ротмистру Горчакову осколком трехдюймового снаряда разворотило внутренности. Его выволокли из цепи; час спустя он, лежа на фурманке, истекая кровью и мочой, говорил Листницкому:

— Я не думал, что умру... Мне вот сейчас операцию сделают... Хлороформу, говорят, нет... Не стоит умирать. Как ты думаешь?.. Но на всякий случай... Находясь в твердом уме и так далее... Евгений, не оставь Лелю... Ни у меня, ни у нее родных нет... Ты — честный и славный... Женись на ней... Не хочешь?

Он смотрел на Евгения умоляюще-ненавидящими глазами, щеки его, синевшие небритой порослью, дрожали. Он бережно прижимал к разверзному животу запачканные кровью и землей ладони, говорил, слизывая с губ розовый пот.

— Обещаешь? Не покинь ее... если тебя вот так не изукрасят... русские солдатики. Обещаешь? Она — хорошая женщина... — и весь нехорошо покривился. — Тургеневская женщина... Теперь таких нет... Обещаешь? Молчишь?..

— Обещаю.

— Ну, и ступай к чорту!.. Прощай пока...

Он вцепился в руку Листницкого дрожливым пожатием, а потом неловким, отчаянным движением потянул его к себе и, дрожа от усилий, приподнимая мокрую голову, прижался к ней запекшимися губами. Торопясь, накрывая полую шинели голову, отвернулся, и потрясенный Листницкий мельком увидел холодный озноб на его губах, серую влажную полоску на щеке.

Через два дня Горчаков умер. Спустя еще один день — Листницкого отправляли в Тихорецкую с тяжелым ранением левой руки и бедра.

Под Корневской завязался длительный и упорный бой. Листницкий со своим полком два раза ходил в атаку и контр-атаку. В третий раз поднялись цепи его батальона. Подталкиваемый криками ротного — «Не ложись!» «Орлята, вперед!» «Вперед — за дело Корнилова!», он бежал по нескошенной пшенице тяжелой трусцой, щитком держа в левой руке над головой лопатку, правой сжимая винтовку. Один раз пуля с звенящим визгом скользнула по покатоному желобу лопатки, и Листницкий, выравнивая в руке держак, почувствовал укол радостью — «мимо!» А потом руку его швырнуло в сторону коротким, поразительно сильным ударом. Он выронил лопатку и, сгоряча, с неза-

щищенной головой, пробежал еще десяток сажен. Попробовал было взять винтовку наперевес, но не смог поднять руку. Боль, как свинец в форму, тяжело вливалась в каждый сустав. Прилег на борозду несколько раз, не осилив себя, вскрикнул. Уже лежачего пуля кинула его в бедро, и он медленно и трудно расстался с сознанием.

В Тихорецкой ему ампутировали раздробленную руку, извлекли из бедра осколок кости. Две недели лежал, терзаемый отчаянием, болью, скукой. Потом перевезли в Новочеркасск. Еще тридцать томительных суток в лазарете. Перевязки, наскучившие лица сестер и докторов, тонкий запах иода, карболки. Изредка приходила Ольга Николаевна. Щеки ее отсвечивали зеленоватой желтизной. Траур усугублял невыплаканную тоску опустошенных глаз. Листницкий подолгу глядел в ее выцветшие глаза, молчал, стыдливо, воровски прятал под одеяло порожний рукав рубашки. Она словно нехотя выпрашивала подробности о смерти мужа, взгляд ее плясал по койкам, слушала с кажущейся рассеянностью. Выписавшись из лазарета, Листницкий пришел к ней. Она встретила его у крыльца, отвернулась, когда он, целуя ей руку, низко склонил голову в густой повити коротко остриженных белевших волос.

Он был тщательно выбрит, защитный щегольской френч сидел на нем попрежнему безукоризненно, но пустой рукав мучительно тревожил, — судорожно шевелился внутри его крохотный, забинтованный отрубок руки. Они вошли в дом. Листницкий заговорил, не садясь.

— Борис перед смертью просил меня... взял с меня обещание, что я вас не оставлю одну...

— Я знаю.

— Откуда?

— Из его последнего письма...

— Желание его, чтобы мы были вместе... Разумеется, если вы согласитесь, если вас устроит брак с калеккой... Прошу вас верить: речи о чувствах прозвучали бы сейчас... Но я искренне хочу вашего благополучия...

Смущенный вид и бессвязная, взволнованная речь Листницкого ее тронули.

— Я думала об этом... Я согласна.

— Мы уедем в имение к моему отцу.

— Хорошо.

— Остальное можно оформить после?

— Да.

Он почтительно коснулся губами ее невесомой, как фарфор, руки и, когда поднял покорные глаза, увидел бегущую с губ ее тень улыбки.

Любовь и тяжелое плотское желание влекли Листницкого к Ольге. Он стал бывать у нее ежедневно. К сказке тянулось уставшее от боевых будней сердце... И он наедине с собой рассуждал, как герой классического романа, терпеливо искал в себе какие-то возвышенные чувства, которых никогда и ни к кому не питал, быть может, желая

прикрыть и скрасить ими наготу простого чувственного влечения. Вспоминая прочувствованное около Ольги, решил, что любит ее той подлинной любовью, которую испытывают порядочные герои романов и живые люди. Однако сказка одним крылом касалась действительности: не только половое влечение, но и еще какая-то незримая нить привязывала его к этой случайно ставшей поперек жизни женщине. Он смутно разбирался в собственных переживаниях, одно лишь ощущая с предельной ясностью, что им, изуродованным и выбитым из строя, попрежнему властно правит разнузданный и дикий инстинкт — «мне все можно». Даже в скорбные для Ольги дни, когда она еще носила в себе, как плод, горечь тяжчайшей утраты, он, разжигаемый ревностью к мертвому Горчакову, желал ее, желал исступленно... Бешеной коловертью пенилась жизнь. В те дни люди, нюхавшие запах пороха, ослепленные и оглушенные происходившим, жили стремительно и жадно, одним нынешним днем. И не потому ли Листницкий и торопился связать узлом свою и ольгину жизнь, быть может, смутно сознавая неизбежную гибель дела, за которое ходил на смерть.

Он известил отца подробным письмом о том, что женится и вскоре приедет с женой в Ягодное... «...Я свое кончил. Я мог бы еще и с одной рукой уничтожить взбунтовавшуюся сволочь, этот проклятый «народ», над участью которого десятки лет плакала и слюнявилась российская интеллигенция, но, право, сейчас это кажется мне дико-бесмысленным...

Краснов не ладит с Деникиным; а внутри обоих лагерей — взаимное подсиживание, интриги, гнусь и пакость. Иногда мне становится жутко. Что же будет? Еду домой обнять вас теперь единственной рукой и пожить с вами, со стороны наблюдая за борьбой.

Из меня уже не солдат, а калека, физический и духовный.

Я устал, капитулирую. Наверное отчасти этим вызвана моя женитьба и стремление обрести «тихую пристань», — грустно-иронической припиской заканчивал он письмо.

Отъезд из Новочеркасска был назначен через неделю. За несколько дней до отъезда Листницкий окончательно переселился к Горчаковой. После ночи, сблизившей их, Ольга как-то осунулась, потускнела. Она и после уступала его домоганиям, но создавшимся положением мучительно тяготилась, и в душе была оскорблена. Не знал Листницкий или не хотел знать, что разной мерой меряют связывающую их любовь, и одной — ненависть.

До отъезда Евгений думал об Аксинье нехотя, урывками. Он заслонялся от мыслей о ней, как рукой от солнца. Но помимо его воли все настойчивее — полосками света — стали просачиваться, тревожить его воспоминания о связи с Аксиньей, за годы выросшей в прочный союз. Одно время он-было подумал: «не буду прерывать с ней отношений. Она согласится». Но чувство порядочности осилило, решил по приезде поговорить и, если представится возможность, расстаться.

На исходе четвертого дня приехали в Ягодное. Старый пан встретил молодых за версту от имения. Еще издали увидел Евгений, как отец тяжело перенес ногу через сиденье беговых дрожек, снял шляпу.

— Выехал встретить дорогих гостей. Ну, дайте-ка взглянуть на вас... — забасил он, неловко обнимая невестку, тычась ей в щеки зеленовато-седыми, прокуренными пучками усов.

— Садитесь к нам, папа! Кучер, трогай! А... дед Сашка, здравствуй! Живой? На мое место садитесь папа? Я вот рядом с кучером устроюсь.

Старик сел рядом с Ольгой, платком вытер усы и сдержанно, с кажущейся молодцеватостью оглядел сына.

— Ну, как, дружок?

— Очень уж я рад вам!

— Инвалид, говоришь?

— Что же делать? — инвалид.

Отец с напускной сдержанностью поглядывал на Евгения, пытаясь за суровостью скрыть выражение сострадания, избегая глядеть на холостой, заткнутый за пояс, зеленый рукав мундира.

— Ничего, привык, — Евгений пошевелил плечом.

— Конечно, привыкнешь, — заторопился старик, — лишь бы голова была цела. Ведь со щитом... а? Или как? Со щитом, говорю, прибыл. И даже со взятой в плен прекрасной невольницей?

Евгений любовался изысканной, немного устаревшей галантностью отца, глазами спрашивал у Ольги: «Ну, как старик?» — и по оживленной улыбке, по теплу, согревшему ее глаза, без слов понял, что отец ей понравился.

Серые, полурусистые, кони шибко несли коляску под изволок. С бугра завиднелись постройки, зеленая разметанная грива левады, дом, белевший стенами, заслонившие окна клены.

— Хорошо-то как! Ах, хорошо! — оживилась Ольга.

От двора, высоко вскидываясь, неслись черные борзые. Они окружили коляску, сзади дед Сашка щелкнул одну, прыгавшую в дрожки, кнутом, крикнул запальчиво:

— Под колесо лезешь, дьява-а-ал! Прочь!

Евгений сидел спиной к лошадям; они изредка пофыркивали, мелкие брызги ветер относил назад, кропил ими шею Евгения. Он улыбался, глядя на отца, Ольгу, дорогу, устланную колосьями, на бугорок, медленно поднимающийся (они спускались под изволок), заслонявший дальний гребень и горизонт.

— Глушь какая! И как тихо...

Ольга улыбкой провожала безмолвно летевших над дорогой грачей, убегавшие назад кусты полынка и донника.

— Нас вышли встречать, — пан пощурил глаза.

— Кто?

— Дворовые.

Евгений, оглянувшись, еще не различая лица стоявших, почувствовал в одной из женщин Аксинью, густо побагровел. Он ждал, что лицо Аксиньи будет отмечено волнением, но, когда коляска, резко шурша, поровнялась с воротами и он с дрожью в сердце взглянул направо и увидел лицо Аксиньи, — его поразило лицо ее, сдержанно веселое, улыбающееся. У него словно тяжесть сняли, он успокоился, кивнул на приветствие.

— Какая порочная красота! Кто это?.. Вызывающе красива, неправда ли? — Ольга восхищенными глазами указала на Аксинью.

Но к Евгению вернулось мужество; спокойно и холодно согласился:

— Да, красивая женщина. Это наша горничная.

★

Присутствие Ольги на все в доме налагало свой отпечаток: старый пан, прежде целыми днями ходивший по дому в ночной рубаше и теплых вязаных подштанниках, приказал извлечь из сундуков пропахшие нафталином сюртуки и генеральские — на выпуск — брюки; прежде неряшливый во всем, что касалось его персоны, теперь кричал на Аксинью за какую-нибудь крохотную складку на выглаженном белье и делал страшные глаза, когда она подавала ему утром невычищенные сапоги. Он посвежел, приятно удивлял глаз Евгения глянец неизменно выбритых щек.

Аксинья, словно предчувствуя плохое, старалась угодить молодой хозяйке, была заискивающе покорна и не в меру услужлива. Лукерья из кожи лезла, чтобы лучше сготовить обед и превосходила самое себя в изобретении отменно приятных вкусу соусов и подливок. Даже деда Сашку, опустившегося и резко постаревшего, коснулось тлетворное влияние происходивших в Ягодном перемен. Как-то встретил его пан около крыльца, оглядел всего с ног до головы и зловеще поманил пальцем.

— Ты что же это, сукин сын? А? — Пан страшно поворочал глазами: — В каком у тебя виде штаны, а?

— А в каком? — дерзко ответил дед Сашка, но сам был слегка смущен и необычным допросом и дрожащим голосом хозяина.

— В доме молодая женщина, а ты, хам, ты меня в гроб вогнать хочешь?! Почему мотню не застегиваешь, козел вонючий? Ну?!

Грязные пальцы деда Сашки пробежались по длинному ряду ядреных пуговиц, как по клапанам беззвучной гармошки. Он хотел еще что-то предерзкое сказать хозяину, но тот, как в молодости, топнул ногой, да так, что на остроносом, старинного фасона сапоге подошва ощерилась, гаркнул:

— На конюшню! Марш! Лукерью заставлю кипятком тебя обмыть! Грязь соскобли с себя, конское быдло!

Евгений отдыхал, бродил с ружьем по суходолу, около скошенных просянников, стрелял куропаток. Одно тяготило его: вопрос с

Аксиньей. Но однажды вечером отец позвал Евгения к себе; опасливо поглядывая на дверь и избегая встретиться глазами, заговорил:

— Я, видишь ли, распознал твое томление... Ты простишь мне вмешательство в твои личные дела. Но я хочу знать, как ты думаешь поступить с Аксиньей?

Торопливостью, с какой стал закуривать, Евгений выдал себя. Он опять, как в день приезда, вспыхнул и, чувствуя, что краснеет, покраснел еще больше.

— Не знаю... просто не знаю... — чистосердечно признался он. Старик веско сказал:

— А я знаю. Иди и сейчас же поговори с ней. Предложи ей денег, отступное, — тут он улыбнулся в кончик уса, — попроси уехать. Мы найдем еще кого-нибудь.

Евгений сейчас же пошел в людскую.

Аксинья, стоя спиной к двери, месила тесто; на спине ее с заметным жалобом посредние шевелились лопатки. На смугло-полных руках, с засученными по локоть рукавами, играли мускулы. Евгений посмотрел на ее шею в крупных кольцах пушистых волос, сказал:

— Я попрошу вас, Аксинья, на минутку.

Она живо повернулась, стараясь придать своему просиявшему лицу выражение услужливости и равнодушия. Но Евгений заметил, как дрожали ее пальцы, опуская рукава.

— Я сейчас, — метнула пугливый взгляд на кухарку и — не в силах побороть радость — пошла к Евгению со счастливой, просящей улыбкой.

На крыльце он сказал ей:

— Пойдем в сад. Поговорить надо.

— Пойдемте.

Обрадованно и покорно согласилась она, думая, что это начало прежних отношений.

По дороге Евгений вполголоса спросил:

— Ты знаешь, зачем я тебя позвал?

Она, улыбаясь в темноте, схватила его руку, но он освободил ее, и Аксинья поняла все. Остановилась.

— Что вы хотели, Евгений Николаевич? Дальше я не пойду.

— Хорошо. Мы можем поговорить и здесь... Нас никто не слышит... — Евгений спешил, путался в незримой сети слов. — Ты должна понять меня. Теперь я не могу с тобой, как раньше... Я не могу жить с тобой... ты понимаешь? Ведь теперь я женат и, как честный человек, не могу делать подлость... Долг совести не позволяет... — говорил он, мучительно стыдясь своих выпренных слов.

Ночь только что пришла с темного востока.

На западе еще багровела сожженная закатом делянка неба. На гумне при фонарях молотили «за погоду» там повышенно и страстно бился пульс машины, гомонили рабочие; зубарь, неустанно выкармли-

вавший прожорливую молотилку, кричал осипло и счастливо: «Давай! Давай! Дава-а-ай!» В саду зрела тишина. Пахло крапивой, пшеницей, росой.

Аксинья молчала.

— Что ты скажешь? Что же ты молчишь, Аксинья?

— Мне нечего говорить.

— Я тебе дам денег. Ты должна уехать отсюда. Я думаю, ты согласишься... Мне будет тяжело видеть тебя постоянно.

— Через неделю мне месяц кончается, можно дослужить?

— Конечно, конечно!

Аксинья помолчала, потом как-то боком, несмело, как побитая, подвинулась к Евгению, сказала:

— Ну, што же... Уйду. Напоследок аль не пожалеешь? Меня нужда такой бессовестной сделала... Измучилась я одна... Ты не суди... Женья.

Голос ее был звучен и сух. Евгений тщетно пытался разобраться, серьезно она говорит или шутит.

— Чего ты хочешь? — он досадливо кашлянул и вдруг почувствовал, как она снова робко ищет его руку...

Через пять минут он вышел из-за куста мокрой пахучей смородины, дошел до прясла и, пыхая папироской, долго тер носовым платком брюки, обзеленные в коленях сочной травой.

Всходя на крыльцо, оглянулся: в людской, в желтом просвете окна виднелась статная фигура Аксиньи — закинув руки, она поправляла волосы, смотрела на огонь, улыбалась...

VI

Вызрел ковыль. Степь на многие версты оделась колышущимся серебром. Ветер упруго приминал его, наплывая, шершавил, бугрил, гнал то к югу, то к западу сизо-опаловые волны. Там, где пробегала текучая воздушная струя, ковыль молитвенно клонился, и на седой его хребтине долго лежала чернеющая тропа.

Отцвели разномастные травы. На гребнях никла безрадостная выгоревшая полынь. Короткие ночи истлевали быстро. По ночам на обугленно-черном небе несчетные сияли звезды, месяц — казачье солнышко — темнее ущербленной боковиной, светил скупое, бело; просторный млечный шлях сплетался с юными звездными путями; терпкий воздух был густ, ветер сух, полынен; земля, напитанная все той же горечью всеильной полыни, тосковала о прохладе. Забились гордые звездные шляхи, не попрунные ни копытом, ни ногой; пшеничная россыпь звезд гибла на сухом черноземно-черном небе и не всходила и не радуя ростками, месяц — обсохлым солончаком, а по степи — сушь, сгибающая трава, и по ней белый, неумолчный серебряный перепелиный бой да металлический звон цикад...

А днями — зной, духота, мглистое куриво; на выцветшей голубени неба — нещадное солнце, бестучье да коричневые стальные полудужья

распростертых крыльев коршуна. По степи слепяще, неотразимо сияет ковыль, дымится бурая верблюжьей окраски горячая трава; коршун, кренясь, плывет в голубом,— внизу по траве неслышно скользит его огромная тень.

Суслики свистят истомно и хрипло. На желтеющих парных отвалах нор дремлют сурки. Степь горяча, мертва, и все окружающее прозрачно-недвижимо... Даже курган синее на грани видимого, на чисто облупленный солнцем, сказочно и невнятно, как во сне.

Степь родимая! Горький ветер, оседающий на гривах косячных маток и жеребцов. На сухом конском храпе от ветра солоно, и конь, вдыхая горько-соленый запах, жуёт шелковистыми губами и ржет, чувствуя на них привкус ветра и солнца. Родимая степь под низким донским небом! Вилюжины балок, суходолов, красноглинистых яров, ковыльный простор с затравевшим гнездоватым следом конского копыта, курганы в мудром молчании, берегущие зарытую казачью славу... Низко кланяюсь и по-сыновьи целую твою пресную землю, донская, казачья, не ржавеющая, кровью политая степь!

★

У него маленькая, сухая змеиная голова. Уши мелкие и подвижны. Грудные мускулы развиты до предела. Ноги тонкие, сильные, бабки безупречны, копыта обточены, как речной голыш. Зад чуть висловат, хвост мочалист. Он — кровный донец. Мало того: он очень высоких кровей, в жилах его ни капли иномеси, и порода видна во всем. Кличка его — «Мальбрук».

На водопое он, защищая свою матку, бился с другим, более сильным и старым жеребцом, и тот сильно зашиб ему левую переднюю ногу, несмотря на то, что жеребцы на попасе всегда раскованы. Они вставали на дыбы, грызли друг друга, били передними ногами, рвали один на другом кожу.

Атарщика возле не было,— он спал в степи, подставив солнцу спину и раскоряченные ноги в пыльных, накаленных сапогах. Противник свалил Мальбрука на землю, потом гнал далеко-далеко от косяка и, оставив там истекающего кровью, занял оба косяка, увел вдоль по обочине топкой балки.

Раненого жеребца поставили на конюшню, фельдшер залечил ушибленную ногу, а на шестой день Мишка Кошевой, приехавший к смотрителю с докладом, стал свидетелем того, как Мальбрук, управляемый могучим инстинктом продолжателя рода, перегрыз чумбур, выскочил из станка и, захватив пасшихся возле казармы стреноженных кобылиц, на которых ездили атарщики, смотритель и фельдшер, погнав их в степь сначала рысью, потом начал покусывать отстававших, торопить. Атарщики и смотритель выскочили из казармы, слышали только, как на кобылицах звучно лопались живцы.

— Спешил нас, проклятый сын, — смотритель выругался, но смотрел вслед удалявшимся лошадям не без тайного одобрения.

В полдень Мальбрук привел и поставил лошадей на водопой. Маток отняли у него пешие атарщики, а самого, заседлав, увел Мишка в степь и пустил в прежний косяк.

За два месяца службы в атарщиках Кошевой внимательно изучил жизнь лошадей на отводе; изучил и проникся глубоким уважением к их уму и не людскому благородству. На его глазах покрывались матки, и этот извечный акт, совершаемый в первобытных условиях, был так естественно-целомудрен и прост, что невольно рождал в уме Кошевого противопоставления не в пользу людей. Но в отношениях лошадей было много и людского: например, замечал Мишка, что стареющий жеребец Бахарь, неукротимо-злой и грубоватый в обращении с кобылицами, выделял одну рыжую четырехлетнюю красавицу, с широкой прозвездью во лбу и горячими глазами. Он всегда был около нее встревожен и волнующе резок, всегда обнюхивал ее с особенным, сдержанным и страстным, похрапом. Он любил на стоянке класть свою злую голову на круп любимой кобылицы и дремать так подолгу. Мишка смотрел на него со стороны, видел, как под тонкой кожей жеребца вяло играют связки мускулов, и ему казалось, что Бахарь любит эту кобылицу по-старчески безнадежно-крепко и грустно.

Служил Кошевой исправно. Видно, слух о его усердии дошел до станичного атамана, и в первых числах августа смотритель получил приказ откомандировать Кошевого в распоряжение станичного атамана.

Мишка собрался в два счета, сдал казенную экипировку, в тот же день на вечер выехал домой. Кобылку свою торопил неустанно. На закате солнца выбрался уже за Каргин и там на гребне догнал подводу, ехавшую в направлении Вешенской.

Возница-хохол погонял упаренных сытых коней, в задке рессорных дрожек полулежал статный, широкоплечий мужчина в сюртуке городского покроя и сдвинутой на затылок серой фетровой шляпе. Некоторое время Мишка ехал сзади, посматривая на вислые плечи человека в шляпе, подрагивавшие от толчков, на белую, запыленную полоску воротничка. У пассажира возле ног лежал желтый саквояж и мешок, прикрытый свернутым пальто. Нюх Мишки остро щекотал незнакомый запах сигары. «Чин какой-нибудь едет в станицу», — подумал Мишка, ровняя кобылу с дрожками. Он искоса глянул под поля шляпы и полураскрыл рот, чувствуя, как от страха и великого изумления спину его проворно осыпают мурашки: Степан Астахов полулежал на дрожках, нетерпеливо жуя черный ошкамелок сигары, щурились лихие светлые глаза. Не веря себе, Мишка еще раз оглядел знакомое, странно изменившееся лицо хуторянина, окончательно убедился, что рессоры качают подлинно живого Степана и, запотев от волнения, кашлянул:

— Извиняюсь, господин, вы не Астахов будете?

Человек на дрожках кивком бросил шляпу на лоб, поворачиваясь, поднял на Мишку глаза.

— Да, Астахов. А что? Вы разве... постой, да ведь ты — Кошевой? — Он привстал и, улыбаясь из-под подстриженных каштановых усов одними смуглыми губами, храня в глазах, во всем постаревшем лице неприступную суровость, растерянно и обрадованно вытянул руку: — Кошевой? Михаил? Вот как увиделись!.. Очень рад...

— Как же? Как же так? — Мишка бросил поводья, недоуменно развел руками. — Гутарили, што убили т-бя. Гляжу: Астахов.

Мишка зацвел улыбкой, заерзал, засуетился в седле, но внешность Степана, чистый глухой выговор его смутили, и он изменил обращение, и после в разговоре все время называл его на «вы», смутно ощущая какую-то невидимую грань, разделявшую их. Между ними завязался разговор. Лошади шли шагом. На западе пышно цвел закат, по небу лазоревые шли в ночь тучки. Сбочь дороги в зарослях проса оглушительно надсаживался перепел, пыльная тишина оседала над степью, изживавшей к вечеру дневную суету и гомон. На развилке Чукаринской и Кружилинской дорог виднелся на фоне сиреневого неба увядший силуэт часовни; над ним отвесно ниспадала скопившаяся громада кирпично-бурых кучевых облаков.

— Откель же вы взялись, Степан Андреич? — радостно допытывался Мишка.

— Из Германии. Выбрался, вот, на родину.

— Как же наши казаки гутарили: мол, убили на наших глазах Степана?

Степан отвечал сдержанно, ровно, словно тяготясь расспросами:

— Ранили в двух местах, а казаки... Что казаки? Бросили они меня... Попал в плен... Немцы вылечили, послали на работу...

— Писем от вас не было вроде...

— Писать некому, — Степан бросил окурок и сейчас же закурил вторую сигару.

— А жена? Супруга ваша живая-здоровая.

— Я ведь с ней не жил, — известно, кажется.

Голос Степана звучал сухо, ни одной теплой нотки не вкралось в него. Упоминание о жене, видимо, не взволновало.

— Что же, не скучали в чужой стороне? — жадно пытал Мишка, почти ложась грудью на луку.

— Вначале скучал, а потом привык. Мне хорошо жилось. — Помолчав, добавил: — Хотел совсем остаться в Германии, в подданство перейти. Но вот домой потянуло, — бросил все, поехал.

Степан в первый раз, смягчив черствые излучины в углах глаз, улыбнулся.

— А у нас тут, видите, какая расторопь идет?.. Воюем промеж себя.

— Да-а-а... слышал.

— Вы каким же путем ехали?

— Из Франции, пароходом из Марсея — город такой — до Невороссийска.

- Мобилизуют и вас?
- Наверное... Что нового в хуторе?
- Да рази всего расскажешь? Много новья.
- Дом мой целый?
- Ветер его колышет...
- Соседи? Мелеховы ребята живые?
- Живые.
- Про бывшую нашу жену слухи имеете?
- Там же она, в Ягодном.
- А Григорий... живет с ней?
- Нет, он с законной. С Аксиньей вашей разошелся...
- Вот как... Не знал.

С минуту молчали. Кошевой продолжал жадно разглядывать Степана. Сказал одобрительно и с почтением:

— Видать, хорошо вам жилось, Степан Андреич. Одежа у вас справная, как у благороднова.

— Там все чисто одеваются.— Степан поморщился, тронул плечо возницы: — Ну, поторапливайся.

Возница невесело махнул кнутом, усталые лошади недружно дернули барки. Дрожки, мягко шепелявя колесами, закачались на выбоинах, и Степан, кончая разговор, поворачиваясь к Мишке спиной, спросил.

— На хутор едешь?

— Нет, в станицу.

На развилке Мишка свернул вправо, привстал на стременах.

— Прощайте покеда, Степан Андреич!

Тот примял запыленное поле шляпы тяжелой связкой пальцев, ответил холодно, четко, как нерусский, выговаривая каждый слог:

— Будьте здоровы!

VII

По линии Филоново-Поворино выравнивался фронт. Красные стягивали силы, копили кулак для удара. Казаки вяло развивали наступление, испытывая острую нехватку огнеприпасов, не стремились выходить за пределы области. На филоновском фронте боевые операции проходили с переменным успехом. В августе установилось относительное затишье, и казаки, приходившие с фронта в краткосрочные отпуска, говорили о том, что к осени надо ждать перемирия.

А в это время в тылу по станицам и хуторам шла уборка хлебов. Нехватало рабочих рук. Старики и бабы не управлялись с работой, к тому же мешали постоянные назначения в обывательские подводы, доставлявшие фронту боеприпасы и продовольствие.

С хутора Татарского почти ежедневно по наряду отправлялось к Вешенской пять-шесть подвод, в Вешенской грузили их ящиками с патронами и снарядами, направляли до передаточного пункта в ху-

горе Андроновском, а иногда, по недостатку, загоняли и дальше, в прихоперские хутора.

Хутор жил суетно, но глухо. К далекому фронту тянулись все мыслями, с тревогой и болью ждали черных вестей о казаках. Приезд Степана Астахова взволновал весь хутор: в каждом курене, на каждом гумне об этом только и говорили. Приехал казак, давно похороненный, записанный лишь у старух, да и то за «упокон», о ком уже почти забыли. Это ли не диво?

Степан остановился у аникушкиной жены, снес в хату свои пожитки и, пока хозяйка собирала ему вечерять, пошел к своему дому. Тяжелым хозяйским шагом долго мерял увитый белым полновесным светом месяца баз, заходил под навесы полуразрушенных сараев, осматривал дом, качал сохи плетней... У аникушкиной бабы давно уж остыла на столе яичница, а Степан все еще осматривал свое затравешнее поместье, похрустывая пальцами, и что-то невнятно, как косноязычный, бормотал.

К нему вечером же наведались казаки посмотреть и порасспросить о жизни в плену. В аникушкину горницу полно понабилося баб и мальчат. Они стояли плотной стеной, слушали степановы рассказы, чернели провалами раскрытых ртов. Степан говорил неохотно, постаревшее лицо его ни разу не освежила улыбка. Видно было, что круто, до корня погнула его жизнь и изменила и переделала.

Наутро, — Степан еще спал в горнице, — пришел Пантелей Прокофьевич. Он басовито покашливал в горсть, ждал, пока проснется служивый. Из горницы тянуло рыхлой прохладой земляного пола, незнакомым удушливо-крепким табаком и запахом дальней паутины, каким надолго пропитывается дорожный человек.

Степан проснулся, слышно было: чиркал спичкой, закуривая.

— Дозволишь взойтить? — спросил Пантелей Прокофьевич и, будто к начальству являясь, суетливо оправил складки топорщившейся новой рубахи, только ради этого случая надетой на него Ильичиной.

— Входите.

Степан одевался, пыхая окурком сигары, жмуря от дыма заспанный глаз. Пантелей Прокофьевич шагнул через порог не без робости и, пораженный изменившимся степановым лицом и металлическими частями его шелковых подтяжек, остановился, лодочкой вытянул черную ладонь.

— Здравствуй, сосед! Живоно видеть...

— Здравствуйте!

Степан одел подтяжками вислые могучие плечи, пошевелил ими и с достоинством вложил свою ладонь в шершавую руку старика. Бегло оглядели друг друга. В глазах Степана сине попыхивали искры неприязни, в косых, выпуклых глазах Мелехова — почтение и легкая с иронией удивленность.

— Постарел ты, Степа... постарел, милушка.

— Да, постарел.

— Тебя-то уж отпоминали, как Гришку мово...— сказал и досадливо осекся: не ко время вспомнил... Попробовал исправить обмолвку: — Слава богу, живой-здоровый пришел... Слава те, господи! Гришку так же отпоминали, а он, как Лазарь, очухался и с тем пошел. Уж двое детишек имеет, и жена его Наталья, слава богу, справилась. Ладная бабочка... Ну, а ты, чадушко, как?

— Благодарю.

— К соседу на гости-то придешь? Приходи, честь сделай, погутарим.

Степан отказался, но Пантелей Прокофьевич просил неотступно, обижался, и Степан сдался: умылся, зачесал вверх коротко остриженные волосы, на вопрос старика: «куда ж чуб задевал? аль прожил?»— улыбнулся и, уверенно кинув на голову шляпу, первый вышел на баз.

Пантелей Прокофьевич был заискивающе ласков, так что Степан невольно подумал: «За старую обиду старается...»

Ильинична, следуя молчаливым указаниям мужниных глаз, проворно ходила по кухне, торопила Наталью и Дуняшку, сама собирала на стол. Бабы изредка метали в сторону сидевшего под образами Степана любопытные взгляды, щупали глазами его сюртук, воротничок, серебряную часовую цепку, прическу; переглядывались с плохо скрытыми изумленными улыбками. Дарья пришла с подворья румяная, конфузливо улыбаясь и утирая тонкую выпрядь губ углом завески, сощурила глаза:

— Ах, соседущка, а я вас и не призначила. Вы и на казака стали непохожие.

Пантелей Прокофьевич, времени не теряя, бутылку самогонки — на стол, тряпочку-затычку из горлышка долой, понюхал сладко-горький дымок, похвалил:

— Спробуй, собственного заводу. Серник поднесешь, — синим огнем дышит, ей-бо!

Шли разбросанные разговоры. Степан пил неохотно, но выпив, начал быстро хмелеть, помягчел.

— Жениться теперя тебе надо, соседущка.

— Что вы, а старую куда дену?

— Старая... Што же — старая... Старой жене, думаешь, износу не будет? Жена — што кобыла: до той поры ездись, покеда зубы в роте держатся... Мы тебе молодую сыщем.

— Жизнь наша стала путанная... не до женитьбов... Отпуск имею себе на полторы недели, а там являться в правление и, небось, на фронт, — говорил Степан, хмелея и понемногу утрачивая заграничный свой выговор.

Вскоре ушел, провожаемый даринным восхищенным взглядом, оставив после себя споры и толки.

— Как он образовался, сукин сын! Гля, гутарил-то как! Как акцизный али ишо какой благородново звания человек. Прихожу, а он

встает и сверх исподней рубахи надевает на плечи шелковые шлейки с бляхами, ей-бо! Как коню, подхватило ему спину и грудь. Это как? К чему-нибудь это пристроено? Он все одно как и ученый человек теперя, — восхищался Пантелей Прокофьевич, явно польщенный тем, что Степан его хлебом-солью не побрезговал и, зла не помня, пришел.

Из разговоров выяснилось, что Степан будет по окончании службы жить на хуторе, дом и хозяйство восстановит. Мельком упомянул он, что средства имеет, вызвав этим у Пантелея Прокофьевича тягучие размышления и невольное уважение.

— При деньгах он, видно, — говорил Прокофьевич после его ухода, — капитал имеет, стерва. Из плену казаки приходят в мамушкиной одеже, а он, ишь, вышелкнулся... Человека убил, либо украл деньги-то.

Первые дни Степан отлеживался в аникушкиной хате, изредка показываясь на улице. Соседи наблюдали за ним, караулили каждое его движение, даже аникушкину жену пробовали расспрашивать, что-де собирается Степан делать, но та поджимала губы, скрытничала, отделиваясь незнанием.

Толки густо пошли по хутору после того, как аникушкина баба наняла у Мелеховых лошадь и рано утром в субботу выехала неизвестно куда. Один Пантелей Прокофьевич почуял, в чем дело: «за Аксиньей поедет» — подмигнул он Ильиничне, запрягая в тарантас хромую кобылу. И не ошибся: со степановым наказом поехала баба в Ягодное: «выспросишь у Аксиньи, не вернется ли она к мужу, кинув прошлые обиды?»

Степан в этот день невозвратно потерял выдержку и спокойствие, до вечера ходил по хутору, долго сидел на крыльце моховского дома с Сергеем Платоновичем и Цацой; рассказывал о Германии, о своем житье там, о дороге через Францию и море. Говорил, слушал жалобы Мохова и все время жадно посматривал на часы...

Хозяйка вернулась из Ягодного в сумерках. Собирая вечерять в летней стряпке, рассказывала, что Аксинья испугалась неожиданной вести, много расспрашивала о нем, но вернуться отказалась наотрез.

— Нужды ей нету ворочаться, живет барыней. Гладкая стала, лицо белое. Тяжелую работу не видит, чего ишо надо? Так одета она — и не вздумашь. Будний день, а на ней юбка, как снег, и ручки чистые-пречистые... — говорила, глотая завистливые вздохи.

У Степана розовели скулы, в опущенных светлых глазах возгорались и тухли злобно-тоскливые огоньки. Ложкой черпал из обливной чашки кислое молоко, удерживая дрожь в руке. Вопросы ронял с обдуманной неторопливостью:

- Говоришь, хвалилась Аксинья житьем?
- Иде же там! Так жить каждая душа не против.
- Обо мне спрашивала?
- А то как же! Побелела вся, как сказала, што вы пришли.

Повечеряв, вышел Степан на затравевший баз. Быстротеком пришли и истухли короткие августовские сумерки. В сыроватой прохладе ночи навязчиво стучали барабаны веялок и резкие голоса. Под желтым, пятнистым месяцем в обычной суতোлке копошились люди, веяли намолоченные за день вороха хлеба, перевозили в амбары. Горячий, терпкий дух свежее обмолоченной пшеницы и мякинной пыли обволакивал хутор. Где-то около плаца стукотела паровая молотилка, брехали собаки; на дальних гумнах тягучая сучилась песня. От Дона тянуло пресной сыростью. Степан прислонился к плетню и долго глядел на текучее стремя Дона, видневшееся через улицу, на огнистую, извилистую стенку, наискось протоптанную месяцем. Мелкая, курчавая рябь виляла по теченью. На той стороне Дона дремотные покоились тополя. Тоска тихо и властно обняла Степана.



На заре шел дождь, но после восхода солнца тучи разошлись, и часа через два только свернувшиеся над колесниками комки присохшей грязи напоминали о непогоде. Утром Степан прикатил в Ягодное. Волнуясь, привязав лошадь у ворот, резво-увалисто пошел в людскую. Просторный, в выгоревшей траве, двор пустовал. Около конюшни в навозе рылись куры. На упавшем плетне топтался вороной, как грач, петух. Он делал вид, что клюет ползавших по плетню красных божьих коровок, скликая кур. Зажиревшие борзые собаки лежали в холодке возле каретника. Шесть черно-пегих и куцых щенят, повалив мать, молоденькую первощенную суку, упираясь ножонками, сосали, оттягивая вялые серые сосцы. На теневой стороне железной крыши барского дома глянец лежала роса.

Степан, внимательно оглядываясь, вошел в людскую, спросил у толстой кухарки:

— Могу я видеть Аксиныю?

— А вы кто такие? — поинтересовалась та, вытирая потное, рябье лицо завеской.

— Вам это не нужно. Аксиныя где будет?

— У пана. Обождите.

Степан присел, жестом страшной усталости положил на колени шляпу. Кухарка совала в печь чугуны, стучала рогачами, не обращая внимания на гостя. В кухне стоял кислый запах свернувшегося творога и хмелин. Мухи черной россыпью покрывали камель печки, стены, насыпанный мукой стол. Степан, напрягаясь, вслушивался, ждал. Знакомый звук аксиныной поступи словно пихнул его с лавки. Он встал, уронив с колен шляпу.

Аксиныя вошла, неся стопку тарелок. Лицо ее помертвело, затрепыхались углы пухлых губ. Она остановилась, беспомощно прижимая к груди тарелки, не спуская со Степана напуганных глаз. А потом как-то сорвалась с места, быстро подошла к столу, опорожнила руки.

— Здравствуй!

Степан дышал медленно, глубоко, как во сне, губы его расщепляла напряженная улыбка. Он молча, клонясь вперед, протягивал Аксинье руку.

— В горницу ко мне... — жестом пригласила Аксинья.

Шляпу Степан поднимал, как тяжесть, кровь била ему в голову, заволакивало глаза. Как только вошли в аксиньину комнату и присели, разделенные столиком, Аксинья, облизывая ссохшиеся губы, со стоном спросила:

— Откуда ты взялся?..

Степан неопределенно и неестественно весело, по-пьяному махнул рукой. С губ его все еще не сходила все та же улыбка радости и боли.

— Из плену... Пришел к тебе, Аксинья...

Он как-то нелепо засуетился, вскочил, достал из кармана небольшой сверточек и, жадно срывая с него тряпку, не владея дрожащими пальцами, извлек серебряные дамские часы-браслет и кольцо с дешевым голубым камешком. Все это он протягивал ей на потной ладони, а она глаз не сводила с чужого ей лица, исковерканного униженной улыбкой.

— Возьми, тебе берег... Жили вместе...

— На что оно мне? Погоди... — шептали аксиньины помертвевшие губы.

— Возьми... не обижай... Дурость нашу бросать надо...

Заслоняясь рукой, Аксинья встала, отошла к лежанке.

— Говорили, погиб ты...

— А ты бы рада была?..

Она не ответила, уже спокойнее разглядывая мужа всего с головы до ног, бесцельно оправила складки тщательно выглаженной юбки. Заложив руки за спину, сказала:

— Аникушкину бабу ты присылал?.. Говорила, что зовешь к себе... жить...

— Пойдешь? — перебил Степан.

— Нет, — голос Аксиньи зазвучал сухо. — Нет, не пойду.

— Что так?

— Отвыкла, да и поздновато трошки... Поздно.

— А я вот хочу на хозяйство стать. Из Германии шел — думал, и там жил — об этом не переставал думать... Как же, Аксинья, ты будешь? Григорий бросил, или ты другою нажила? Слышал, будто с панским сыном... Правда?

Щеки Аксиньи жгуче, до слез, проступивших под веками отягощенных стыдом глаз, крыла кровь.

— Живу теперь с ним. Верно.

— Я не в укор, — испугался Степан. — Я к тому говорю, что, может, ты свою жизнь не решила? Ему ты не надолго нужна, баловство... Вот морщины у тебя под глазами... Ведь бросит, надоешь ему — прогонит... Куда прислонишься? В холопках не надоело быть? Гляди

сама... Я денег принес, кончится война, справно будем жить... Думал, сойдемся мы... Я за старое позабыть хочу...

— Об чем же ты раньше думал, милый друг Степа? — с веселыми слезами, с дрожью заговорила Аксинья и оторвалась от лежанки, в упор подошла к столу. — Об чем раньше думал, когда жизнь мою молодую в прах затолочил? Ты меня к Гришке пихнул... Ты мне сердце высушил. Да ты помнишь, что со мной сделал?

— Я не считаться пришел... Ты... почему знаешь, я, может, об этом изболелся весь. Может, я другую жизнь прожил, вспоминая... — Степан долго рассматривал свои выкинутые на стол руки, слова вязал медленно, словно выкорчевывая их изо рта: — Думал об тебе... Сердце кровью запеклось... День и ночь из ума не шла... Я жил там со вдовой, немкой... богато жил, и бросил... Потянуло домой...

— К тихой жизни поклонило? — яростно двигая ноздрями, спрашивала Аксинья. — Хозяйничать хочешь? Небось, детишков хочешь иметь, жену, чтоб стирала на тебя, кормила и поила? — И нехорошо, темно улыбнулась. — Нет уж, спаси Христос! Старая я — морщины вон разглядел... И детей родить разучилась. В любовницах нахожусь, а любовницам их не полагается... Нужна ли такая-то?

— Шустрая ты стала...

— Уж какая есть.

— Значит нет?

— Нет, не пойду. Нет.

— Ну, бывай здорова, — Степан встал, никчемно повертел в руках браслет и опять положил его на стол. — Надумаешь, тогда общи.

Аксинья провожала его до ворот. Долго глядела, как из-под колес рвется пыль, заволакивает широкие Степановы плечи.

Бороли ее злые слезы. Она редко всхлипывала, смутно думая о том, что не сбылось, оплакивая свою вновь по ветру пущенную жизнь. После того как узнала, что Евгению она больше не нужна, услышав о возвращении мужа, решила уйти к нему, чтобы вновь собрать по кусочкам счастье, какого не было... С этим решением ждала Степана. Но увидела его, приниженного, покорного, и черная гордость, гордость, не позволявшая ей, отверженной, оставаться в Ягодном, встала в ней на дыбы. Неподвластная ей злая воля направляла слова ее и поступки. Вспомнила пережитые обиды, все вспомнила, что перенесла от этого человека, от больших железных рук, и сама, не желая разрыва, в душе ужасаясь тому, что делала, задыхаясь в колючих словах: «Нет, не пойду к тебе. Нет».

Еще раз потянулась взглядом вслед удалявшемуся тарантасу. Степан помахивал кнутом, скрывался за сиреновой кромкой невысокой придорожной полыни...



На другой день Аксинья, получив расчет, собрала пожитки, прощаясь с Евгением, всплакнула:

— Не поминайте лихом, Евгений Николаевич.

— Ну, что ты, милая... Спасибо тебе за все.

Голос его, прикрывал смущение, звучал наигранно-весело.

И ушла. К вечеру была на хуторе Татарском.

Степан встретил Аксинию у ворот.

— Пришла? — спросил он, улыбаясь.— Наво все? Можно надежду иметь, что больше не уйдешь?

— Не уйду, — просто ответила Аксинья, с сжавшимся сердцем оглядывая полуразрушенный курень и баз, бурно заросший лебедой и черным бурьяном.

(Продолжение следует)

СОДЕРЖАНИЕ

	<i>Стр.</i>
А. ФАДЕЕВ.—Последний из Удэге. <i>Роман (продолжение)</i> . . .	3
А. КАРАВАЕВА.—Глина. <i>Рассказ</i>	26
Л. КОПЫЛОВА.—Сад отца Арсения. <i>Рассказ</i>	59
Д. АЛТАУЗЕН.—Безусый энтузиаст. <i>Поэма</i>	65
МИХ. ШОЛОХОВ.—Тихий Дон. <i>Роман (продолжение)</i>	91
И. МЫКИТЕНКО.—Братья. <i>Рассказ</i>	119
ПАВЛО ТЫЧИНА.—Осень. <i>Стих.</i>	142
МИКОЛА ТЕРЕЩЕНКО.—Цель и предел. <i>Стих.</i>	143
Н. АСЕЕВ.—Из поэмы „Три поколения“	145
ВИКТОР ГУСЕВ.—Марат на Волге. <i>Стих.</i>	148
А. БЕЗЫМЕНСКИЙ.—Эскизы. <i>Стих.</i>	150

ПЕРЕЖИТОЕ

А. И. СВИРСКИЙ.—История моей жизни. <i>Повесть (продолжение)</i>	151
--	-----

ЖИЗНЬ НА ХОДУ

АЛ. ИСБАХ.—На выборах	181
ВЛ. ШМЕРЛИНГ.—Республика у Днестра	191
П. МАКСИМОВ.—По земле Нохчи	203

ЗАПИСКИ ПИСАТЕЛЯ

ДМ. ФУРМАНОВ	215
М. СВЕТЛОВ	218
ИВАН ЛЕ	221

КРИТИКА

Б. КОВАЛЕНКО.—Пролетарский реализм в украинской художественной прозе	223
Г. ГОРБАЧЕВ.—„Наталья Тарпова“ С. Семенова	233

БИБЛИОГРАФИЯ

Е. Трощенко.—„Сердце“ И. Катаева. Мих. Слонимский.—„Средний проспект“, Николай Колоколов.—„Мед и кровь“, Б. Л. Дайреджиев.—„Через отмели“, Ив. Тачалов.—„Мрачная повесть“, Павел Дорохов.—„Земная радость“.	241—254
---	---------